

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

ОСКВЕРНИТЕЛЬ ПРАХА



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44
Ф75

Серия «Эксклюзивная классика»

William Faulkner

INTRUDER IN THE DUST

Перевод с английского *М. Богословской*

Серийное оформление *Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения издательства Random House,
a division of Penguin Random House LLC
и литературного агентства Nova Littera SIA.

Фолкнер, Уильям.

Ф75

Осквернитель праха : [роман] / Уильям Фолкнер ; [пер. с англ. М. Богословской]. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 320 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-112870-8

Действие романа «Осквернитель праха» из «Йокнапатофского цикла» разворачивается в вымышленном округе Йокнапатофе, воплотившем, однако, все реальные особенности и проблемы американского Юга.

Лукаса Бичема, темнокожего фермера, ошибочно обвиняют в убийстве белого человека. Кажется, его судьба предрешена: впереди ждет линчевание. Но неожиданно в его жизнь врывается Чик Мэллison — белый паренек, которого Лукас спас несколько лет назад, вытащив из-под льда. Чтобы раскрыть преступление и добиться справедливости, тот готов даже вырыть могилу, в которой похоронена жертва, и стать осквернителем праха...

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-112870-8

© William Faulkner, 1948
© Перевод. М. Богословская,
наследники, 2018
© Издание на русском языке
AST Publishers, 2019

Глава первая

Это было в то воскресенье, ровно в полдень шериф подъехал к тюрьме с Лукасом Бичемом, хотя весь город (да уж если на то пошло, весь округ) еще со вчерашнего вечера знал, что Лукас убил белого человека.

Он стоял и ждал. Он пришел первым и теперь топтался на месте, стараясь придать себе занятой или хотя бы ни к чему не причастный вид, укрывшись под навесом запертой кузницы, через дорогу, напротив тюрьмы, где его дядя, если он пойдет через Площадь, или, вернее, когда он пойдет за одиннадцатичасовой почтой через Площадь, может, и не заметит его.

Потому что он тоже знал Лукаса Бичема — так же, как его знал всякий из живущих здесь белых. И, пожалуй, даже если не считать Карозерса Эдмондса, на ферме которого в семнадцати милях от города жил Лукас, лучше многих других, потому что он однажды ел в доме Лукаса. Это было в самом начале зимы, четыре года тому назад; ему тогда было только двенадцать лет, и вот как это случилось. Эдмондс дружил с его дядей; они вместе слушали курс в университете, где дядя изучал дополнительные правовые вопросы после того, как

вернулся из Гарварда и Гейдельберга и собирался выставить свою кандидатуру в адвокаты окружного суда, и вот за день перед тем Эдмондс приехал в город повидать дядю по каким-то там окружным делам и остался у них ночевать, а когда вечером сели ужинать, Эдмондс сказал ему:

— Едем со мной завтра утром, пойдешь охотиться на зайцев. — И тут же его маме: — А под вечер завтра я его отправлю домой. А на охоту, пока он с ружьем будет, я с ним пошлю парнишку одного с фермы. — И, повернувшись к нему, добавил: — Собака у него очень хорошая.

— У него свой есть парнишка, сверстник, — сказал дядя, а Эдмондс спросил:

— А он что, тоже охотится на зайцев?

И дядя сказал:

— Мы пообещаем, что он не будет мешать вашему.

И вот на следующее утро он и Алек Сэндер поехали с Эдмондсом к нему домой. Утро было холодное, первые зимние заморозки, зеленые изгороди застыли недвижные, заиндевевшие, стоячая вода в канавах по обочинам дороги затянулась льдом, и даже быстротечный рукав реки на Девятой Миле подернулся у берегов тоненькой пленкой, сверкающей и хрупкой, словно волшебное стекло, а как только они проехали первую ферму, а потом еще и еще, на них дохнуло без ветра едкой горечью дыма, а позади домов на дворах видны были уже окутанные паром чугунные котлы, и женщины, все еще в летних соломенных

или старых мужских фетровых шляпах и длинных мужских пальто, подкладывали под них дрова, а мужчины в передниках из мешковины, подвязанных проволокой поперек комбинезонов, оттачивали ножи или уже возились в загоне, где хрюкали и визжали свиньи, не то что испуганные или застигнутые врасплох, но просто настороженные и словно уже смутно осознавшие свой жирный неминуемый удел; к ночи все дворы будут увешаны их призрачными цельными, лоснящимися от сала полыми бледными тушами, схваченными за задние ноги и словно остановленными в бешеном стремительном беге к центру Земли.

И он просто понятия не имел, как это с ним случилось. Сын одного из арендаторов Эдмондса, постарше и много выше Алека Сэндера, который, в свою очередь, был больше его самого, хотя они были однолетки, уже ждал их в доме с собакой, настоящей охотничьей собакой на зайцев, из породы гончих, не совсем чистой, но почти черно-пегой, с желтыми подпалинами, может быть, чуть-чуть с примесью пойнтера, где-то у предков, сразу видно — хватала, негритянская собака, у которой есть что-то родственное, что-то общее с зайцем, так же вот, как некоторые говорят, что у негра есть что-то общее с мулом; а у Алека Сэндера был железный костыль, этакий болт с нарезкой, которым сцепляют рельсы, насаженный на отпиленный конец толстой палки от метлы, и Алек так ловко метал его, что он у него летел, как пуля из ружья, и попадал в зайца на бегу; и вот они все

втроем — Алек Сэндер и мальчик Эдмондса с болтами, а он с ружьем — пошли через парк и потом наперерез лугом, чтобы перейти рукав в том месте, где сын фермера знал переход по бревну, и он сам не знал, как это с ним случилось такое, что могло бы случиться ну разве с девчонкой, ей это было бы простительно, но уж никак никому другому, он шел по бревну, нисколько не думая об этом — мало ли он хаживал по самому верху ограды по узкой перекладине вдвое длиннее этого бревна, — и вдруг ни с того ни с сего привычная солнечная зимняя земля перевернулась под ним, и он, распластавшись, но не выпуская ружья из рук, полетел стремглав не от земли, а от ясного неба, он вот и сейчас помнит тонкий звонкий хруст ломающегося льда и как он даже ничего не почувствовал, когда очутился в воде, а только когда уже вынырнул на воздух. А ружье он выронил, и ему пришлось снова нырнуть, чтобы найти его, снова из ледяного воздуха погрузиться в воду, которой он все еще не чувствовал, холодная она или нет, и даже его насквозь промокшая одежда — сапоги, толстые штаны, свитер, охотничья куртка — вовсе не чувствовалась в воде как тяжелый груз, а только стесняла в движениях, и он поднял ружье, и, еще раз нащупав дно, оттолкнулся, и, молотя по воде одной рукой, подплыл к берегу, шагнул по воде и, уцепившись за сук ивы, вытянул руку с ружьем, и кто-то ухватил его с берега — по-видимому, мальчик Эдмондса, потому что в этот самый миг Алек Сэндер ткнул его концом

длинного шеста, толстого, как кол, и сшиб с ног, и он опять ушел с головой в воду и чуть было не выпустил из рук и ветку, за которую держался, но тут чей-то голос сказал:

— Убери кол с дороги, чтобы не мешал вылезть, — просто какой-то голос, не потому, что это не мог быть ничей другой, кроме как Алека Сэндера или Эдмондсова мальчика, а потому, что сейчас было все равно; цепляясь теперь уже обеими руками, он выбирался из ивняка, и тоненький льдистый налет, покрывавший деревья, ломался, звеня и хрустя, осыпаясь ему на грудь, одежда его теперь была словно свинцовая обертка, он не двигался в ней, а был завернут в нее, как в пончо или в просмоленный брезент, так он карабкался по откосу и увидел перед собой две ступни, две ноги в резиновых сапогах, ноги не Алека Сэндера и не Эдмондсова мальчика, потом ноги до колен и штаны, заправленные в сапоги, и тут он вылез на берег, встал и увидел негра с топором на плече, в толстой овчинной куртке и в светлой широкополой фетровой шляпе, какую когда-то носил дедушка, — он стоял и смотрел на него; так первый раз, насколько он помнит, он увидел Лукаса Бичема, и, наверно, это было первый раз, потому что Лукас был не из тех, кого забывают; едва переводя дух, трясаясь всем телом и только теперь чувствуя знобь от ледяной воды, он смотрел на это лицо, которое глядело на него без всякого участия, жалости или каких-либо других чувств, даже без удивления; просто глядело, ведь тот, кому при-

надлежало это лицо, не двинул пальцем, чтобы помочь ему выбраться из воды, напротив, велел Алеку Сэндеру убрать кол, что как-никак было единственной попыткой оказать ему помощь; лицо это, как ему показалось, принадлежало человеку лет под пятьдесят, может быть, — даже не больше сорока, если бы не эта шляпа и не глаза, и человек этот был чернокожий, негр, но это было все равно двенадцатилетнему, продрогшему до мозга костей мальчику, который все еще никак не мог отдышаться и от потрясения и оттого, что он совсем выбился из сил, к тому же то, что проступало на этом лице, не имело никакой окраски, даже в той малой доле, какая бывает у белого, — оно не было ни заносчиво, ни презрительно: просто неподатливо и спокойно.

Тут мальчик Эдмондса что-то сказал этому человеку и произнес имя — что-то вроде мистер Лукас, и тогда он понял, кто это, и вспомнил все остальное из этой истории, представлявшей собой кусок или часть летописи здешнего края, которую мало кто, да никто, пожалуй, не знал так, как его дядя: как этот человек был сыном одного из рабов прадеда Эдмондса, старого Карозерса Маккаслина, и раб этот был не просто рабом, а и сыном старого Карозерса; и вот он стоял, трясясь всем телом, и, как ему казалось, уже не одну минуту, а этот человек стоял и смотрел на него с ничего не выражающим лицом. Потом этот человек повернулся и сказал, даже не оглянувшись через плечо, а уже на ходу, даже не замедлив шага,

не поглядев, слышали ли они, уж не говоря о том, послушались ли:

— Идем ко мне.

— Я к мистеру Эдмондсу пойду, — сказал он.

Человек этот даже не обернулся. Даже ничего не возразил.

— Возьми его ружье, Джо, — сказал он.

Итак, он, и мальчик Эдмондса, и Алек Сэндер пошли за ним гуськом по берегу реки к мосту и на дорогу. Его скоро перестало трясти; он только чувствовал, что продрог и промок насквозь, да и это, наверно, скоро прошло бы, надо было только не переставать двигаться. Они перешли мост. Впереди уже виднелись ворота, откуда въездная аллея поднималась по склону и вела через парк к дому Эдмондса. До него оставалось примерно с милю; наверно, он бы совсем высох и согрелся, пока дошел, и он все еще уверял себя, что вот он сейчас повернет в ворота, и, даже когда ему стало ясно, что он не повернет, уже не повернул, уже прошел мимо, он все еще говорил себе, что это только потому, что Эдмондс — хотя Эдмондс был холостяк и у него в доме не было женщин, — сам Эдмондс может не пустить его никуда, пока не отправит домой к маме, и так он и продолжал себя уверять, хотя уже давно понял, что все дело в том, что он просто не может послушаться этого человека, так же как он не мог послушаться своего деда, и вовсе не из какого-нибудь страха и не оттого, что ему потом за это достанется, а потому, что, как его дед, вот так же и этот человек, шагав-

ший впереди, не допускал и мысли, что какой-то мальчишка-подросток осмелится прекословить ему или не послушаться его.

Так что он даже не замедлил шага, когда они поравнялись с воротами, даже не посмотрел в ту сторону, когда они шли мимо, и вот теперь они свернули, не то чтобы на обыкновенную тропинку, которая ведет из усадьбы к хижинам крестьян-арендаторов или дворовой прислуги и всегда хорошо утоптана, а просто в какую-то расщелину, где то ли рывтина, то ли колея ползла уединенно вверх по склону, и вид у нее был такой же неподатливый — не подступись, — и тут он увидел домик-хибарку и вспомнил продолжение этой истории, этой летописи о том, как отец Эдмондса сделал дарственную своему чернокожему двоюродному брату, передав в вечное владение ему и его наследникам этот домик и десять акров земли, на которой он стоял, — продолговатый клочок, навечно вклинившийся в середину плантации в две тысячи акров, точно почтовая марка, наклеенная на середину конверта, — некрашенный деревянный домишко, некрашенный забор-частокол; все так же не останавливаясь, не оглядываясь, прошел, толкнув ее на ходу коленкой, а следом за ним он, затем Алек Сэндер и мальчик Эдмондса гуськом вошли во двор. Можно было представить себе, что он даже и летом был без единой травинки, совсем голый — ни листика, ни стебелька, каждое утро кто-нибудь из женщин в доме Лукаса подметал здесь метелкой из связанных веником ивовых прутьев, оставляя сложные

завихрения и спирали, которые по мере того, как двигался день, медленно и постепенно искажались, загаженные куриным пометом, испещренные загадочными трехпалыми отпечатками, словно земная поверхность в миниатюре (так ему теперь вспомнилось в шестнадцать лет) в эру гигантских ящеров, и они все четверо пошли по какому-то не то что проходу — собственно, это была просто утоптанная глина, — узенькая, прямая как стрела дорожка между высившимися с обеих сторон залежами консервных жестянок, бутылок, битой фаянсовой посуды и торчавшими из земли глиняными черепками вела к некрашеному крыльцу и некрашеной терраске, вдоль которой тоже были свалены жестянки, но уже побольше, пустые галлоновые ведерца, в которых когда-то держали патоку, а может быть, краску, дырявые ведра для воды или молока, пятигаллоновый бидон для керосина с продавленным верхом и половина того, что было некогда баком для нагревания воды из чьей-то кухонной плиты (наверно, Эдмондсовой) — оторванная вдоль, как кожура с банана, — прошлым летом сквозь нее проросли цветы, и сейчас еще торчали мертвые стебли и хрупкие высохшие тычинки, а за всем этим и самый дом, серый, обшарпанный и не то что некрашенный, а какой-то неподатливый, не приемлющий краску, отчего он казался не только единственно возможным продолжением мрачной нерасчищенной дороги, но венчающим ее завершением, как листья аканта на капителях греческих колонн.

Не останавливаясь, человек поднялся на крыльцо, прошел через террасу, открыл дверь, вошел, а за ним следом — он, мальчик Эдмондса и Алек Сэндер; полутемная передняя, даже совсем темная после яркого солнечного света, и сразу же запах, запах, который он безоговорочно считал всю жизнь чем-то присущим всякому дому, где живут люди, у которых в жилах хоть капля негритянской крови, так же как он всегда считал, что всякий человек по фамилии Мэллисон должен быть непременно методистом, и тут они вошли в спальню: голый, истертый, совершенно чистый, некрашенный пол без всяких дорожек, в одном углу — покрытая ярким лоскутным одеялом большая кровать под балдахином, наверно стоявшая в доме Маккаслина, и старый, дешевый, обшарпанный буфет из мебельного магазина в Грэнд-Рэпидсе — и в первую минуту как будто все или почти все; только потом уже он заметит или вспомнит, что видел заставленную каминную полку и на ней керосиновую лампу, расписанную от руки цветами, и вазу, набитую свернутыми в трубку обрывками газет, а над каминной полкой — цветную литографию с календарем трехлетней давности, на которой Покахонтас в мокасилах и украшенном перьями и бахромой одеянии вождя племени сиу или чиппева стоит у мраморной балюстрады и смотрит в сад с чинными кипарисами, а в полутемном углу, напротив кровати, на золоченом мольберте в толстой деревянной золоченой раме — цветной портрет, на котором изо-

бражены двое. Но портрета он пока еще не видел, потому что был к нему спиной, а сейчас он видел только камин — камин из неотесанного камня, промазанного глиной, в котором чуть тлело наполовину зарытое в серой золе большое обгорелое полено, а рядом с камином в качалке сидела девочка, так ему показалось сначала, пока он не увидел лица, а тогда он даже остановился, чтобы разглядеть ее, потому что ему вдруг показалось, вот-вот он сейчас вспомнит что-то еще, что ему рассказывал дядя о Лукасе Бичеме или, во всяком случае, в связи с ним, и, глядя на нее, он только теперь подумал, какой он, должно быть, на самом деле старый, потому что это была крохотная старушка, чуть ли не кукольных размеров, гораздо темнее, чем он, в фартуке, в накинутой на плечи шали, а голова ее была повязана белоснежной косынкой, поверх которой была надета цветная соломенная шляпа с какой-то отделкой. Но он так и не мог вспомнить, что такое ему рассказывал или говорил дядя, а потом ему даже стало казаться, что он просто все спутал и никто ему ничего не рассказывал; и он сидел в кресле прямо перед камином, в котором мальчик Эдмондса разводил огонь, пихая туда чурки и сосновые щепки, а Алек Сэндер, присев на корточки, стаскивал с него мокрые сапоги и штаны, а потом он встал, и его высвободили из куртки, и свитера, и рубахи, и им обоим приходилось приседать и изворачиваться, чтобы не задеть человека, который стоял у камина, спиной к огню, расставив ноги все еще в ре-

зиновых сапогах и даже не сняв шляпы, а только скинув толстую овчинную куртку, а потом перед ним снова эта старушка, такая маленькая, меньше даже, чем он и Алек, а ведь им только двенадцать, и на руке у нее другое пестрое лоскутное одеяло.

— Снимай все! — сказал человек.

— Нет, я... — начал было он.

— Снимай все, — повторил человек.

И он стащил с себя мокрое белье и сейчас же снова очутился в кресле, теперь уже перед ярко полыхавшим огнем, закутанный в одеяло, как кокон, и весь обволочнутый этим безошибочно различимым среди всех других запахом негров, запахом, о котором ему никогда и в голову не пришло бы задуматься, не случись того, что должно было с ним случиться через какой-то небольшой промежуток времени, который теперь уже исчислялся минутами, так бы он и в могилу сошел, не удосужившись подумать, а не является ли этот запах все не прирожденным запахом расы и даже не нищеты, а скорее состояния, сознания, убеждения, приятия, пассивного приятия ими самими вот этого убеждения, что им, неграм, вовсе и не положено иметь какие-либо удобства, чтобы мыться как следует, или мыться часто, или хотя бы просто позволить себе полоскаться и размываться даже и безо всяких удобств, и что, в сущности, оно даже предпочтительней, чтобы они этого не делали. Но ни тогда, ни даже теперь еще этот запах ровно ничего не значил для него; до того, что с ним тогда произошло, еще должен был прой-

ти час, и пройдет еще четыре года, прежде чем он поймет, во что все это разрослось и как повлияло на него, и только уже совсем взрослым он по-настоящему поймет и признает, что и он считал, что так оно и должно быть. А сейчас он сам просто вдохнул этот запах и тут же перестал его замечать, потому что он свыкся с ним, ведь он всю жизнь нюхал его изо дня в день и будет нюхать и дальше; а жизнь его до сих пор в значительной мере проходила в хижине Парали, матери Алека Сэндера, жившей у них во дворе, там они с ним играли в плохую погоду, и Парали, готовя еду для дома, в промежутке между завтраком и обедом пекла им лепешки, и они с Алеком ели их вместе — и тот и другой с одинаковым аппетитом; он даже не мог представить себе такого существования, которое вдруг раз и навсегда лишилось бы этого запаха. Он вдыхал его испокон веков и всегда будет вдыхать; этот запах был частью его неотвратимого прошлого, ценной частью его наследия как южанина; ему не надо было даже отгонять его от себя, он просто давно уже перестал замечать его, как старый курильщик не замечает запаха своей прокуренной трубки, который стал такой же принадлежностью или частью его одежды, как пуговицы и петли; так он сидел и даже немножко дремал в теплой, окутывавшей его вони одеяла, один раз он чуть-чуть насторожился, услышав, как мальчик Эдмондса и Алек Сэндер, сидевшие на корточках у стены, поднялись и вышли из комнаты, — но только чуть-чуть — и сейчас же снова провалил-